

*Посвящается всем тем,
о ком умалчивает история*

«Не спешите верить!»
Элизабет Макартур

История, описанная в этой книге, разворачивается в стране, где коренным населением являются австралийские аборигены и жители островов пролива Торреса, и я отдаю дань уважения их старейшинам прошлого и настоящего.

Я благодарна за содействие членам Корпорации по охране культурно-исторического наследия народа даруг и Сиднейского совета по вопросам земель коренного населения. Они великодушно согласились проконсультировать меня по вопросам фактического материала, использованного в книге, и я за это им глубоко признательна.

ОТ РЕДАКТОРА

Воистину невероятная и — что удивительно — малоизвестная история о том, как были обнаружены некогда утраченные тайные дневники Элизабет Макартур.

Некоторое время назад в ходе реставрации одного из исторических зданий Сиднея в щели между балкой и крышей была обнаружена жестяная коробка. Она была запечатана воском и завернута в промасленную парусину. В этом доме, под названием Элизабет-Фарм, проживала до самой смерти Элизабет Макартур (скончалась в 1850 г.), супруга одного из первых переселенцев — скандально известного Джона Макартура. Коробка была забита старыми тетрадями, которые с трудом поддавались прочтению, потому как ради экономии места были исписаны вдоль и поперек. Удивительным образом она пролежала в тайнике долгие годы, а потом посредством целого ряда событий, столь невероятных, что нарочно не придумаешь, попала ко мне в руки. Оказалось, что эти тетради — некогда спрятанные мемуары хозяйки дома.

В этих личных записках, которые Элизабет составила на закате жизни, она отходит от своего публичного образа, сложившегося на основе официальных документов. Они представляют собой череду пылких излияний, фрагментов воспоминаний, озаренных светом страстного чувства. Порой с шокирующей откровенностью эти записки предлагают нам заглянуть в самую глубь ее сердца.

В истории Австралии, как и в истории почти любой другой страны, главная роль отведена мужчинам. Уделом женщин обычно была безвестность, и мало кому из них удавалось заявить о себе во весь голос. Одной из этих немногих слыла Элизабет Макартур, однако до сей поры ее личность оставалась загадкой. Ее невероятные деяния заслуживают наивысшей похвалы, но что она была за человек — что его двигало — к сожалению, всегда являлось тайной за семью печатями.

Урожденная Элизабет Вил появилась на свет в 1766 году в семье фермера из крошечного селения Бриджрул в графстве Девон. Девочкой она была принята на воспитание в семью местного священника и выросла в среде, подобной той, что окружала Джейн Остин, с которой они считались почти что современницами. В 1788 году Элизабет вышла замуж за военного и год спустя вместе с супругом и их маленьким сыном отплыла в Новый Южный Уэльс, где недавно было основано поселение для каторжников. Утонченная молодая женщина из прихода Бриджрул, словно роза, брошенная в вырвбную яму, внезапно оказалась в обществе грубых жестоких людей в самом далеком уголке земного шара.

Во-первых, непонятно, что вообще ее побудило выйти замуж за энсина* Джона Макартура. Природным обаянием он не был наделен. Элизабет сама, характеризуя своего супруга, писала, что он был «не в меру горделивым и заносчивым, учитывая наше скромное положение и безрадостные перспективы». Красотой Джон Макартур тоже не отличался: лицо его было изрыто оспой, которой он переболел в детстве. Сын торговца мануфактурными товарами, он не мог похвастать ни богатством, ни знатностью и, кроме своего половинного жа-

* Энсин — в сухопутных и военно-морских силах некоторых западных стран низшее офицерское звание, соответствующее званию мичмана в русском флоте. (Здесь и далее примечания переводчика)

лования, другими источниками дохода не располагал. В мире Джейн Остин такой брак вряд ли был бы возможен.

В одном Джону Макатуру нужно отдать должное: он был нацелен на успех, шел к нему с беспощадной напористостью. Прибегая к таким методам, как запугивание, лесть и обман, спустя десять лет после прибытия в колонию он стал самым богатым и влиятельным человеком в Новом Южном Уэльсе.

Один историк, у которого Макатур вызывает восхищение, называет его «бунтарем». Что ж, полагаю, можно и так охарактеризовать человека, который стрелялся на дуэли со своим командиром и организовал заговор с целью смещения губернатора. За каждую из этих провинностей Макатура отсылали в Лондон, где он предстал перед судом. Первый раз он покинул Австралию на четыре года, второй раз — на восемь лет, оставляя свой бизнес на попечение супруги.

Австралийцы моего поколения с детства усвоили, что «наша страна едет верхом на овце» — т.е. основу австралийской экономики составляет шерсть — и что Джон Макатур по праву считается «отцом шерстяного овцеводства». В его честь названы улицы, бассейны и парки по всей Австралии.

Но вот что интересно: австралийский меринос — порода овец, на которых мы «едем» — была выведена, главным образом, в те годы, когда Джон Макатур находился в Англии. И выходит, что «отец шерстяного овцеводства» на самом деле «мать» — его супруга.

Так что же за человек была Элизабет Макатур? Как ей удалось выстоять в браке, пожалуй, с одним из самых неуживчивых мужчин на планете? Где она научилась управлять гигантским фермерским предприятием, разводить тонкорунных овец, держать в узде рабочую силу — грубых и жестоких преступников? Перед подобными трудностями, по-

жалуй, спасовала бы даже самая бесстрашная из героинь Остин.

И вот перед нами встает проблема. Супруг Элизабет оставил после себя гору документов, проливающих свет на его личность, но о самой Элизабет письменных источников всего ничего: несколько бессодержательных писем на родину близким и друзьям, неоконченный рассказ о путешествии в Новый Южный Уэльс, скучная переписка со взрослыми детьми. Наверное, судить о ее характере можно было бы по письмам, что она отправляла мужу в периоды его продолжительного отсутствия, однако, как ни странно, ни одно из них ни разу нигде не всплыло.

Волей обстоятельств Элизабет Макартур была вынуждена вести жизнь, невыносимую для женщины ее социального статуса и того времени, но благодаря определенным качествам своей натуры она сумела побороть эти обстоятельства и обратить их себе на пользу. Ее персону завораживала не одно поколение историков. Как же раздражало, сводило с ума полнейшее отсутствие всяких материалов, которые могли бы раскрыть ее личность! Так было до последнего времени.

Я не сделала ничего особенного: просто расшифровала записи, что хранились в жестяной коробке. Местами старые чернила настолько поблекли, что текст не поддавался прочтению, и тогда, естественно, мне приходилось призывать на помощь свое воображение. Много времени я потратила на то, чтобы скомпоновать воспоминания Элизабет в наиболее приемлемом, на мой взгляд, порядке, но на том мое вмешательство заканчивается. Элизабет Макартур сама рассказывает историю своей жизни. Я рада, что мне выпала честь первой прочитать ее мемуары и подготовить их к публикации.

*Кейт Гренвилл,
редактор и составитель*

МЕМУАРЫ ЭЛИЗАБЕТ МАКАРТУР Часть 1

Мой дорогой сын Джеймс попросил, чтобы свои последние годы или месяцы — то время, что мне еще отпущено, помимо тех долгих лет, которые я прожила, — я посвятила выполнению одного его поручения, а именно: написала «Подлинную историю Макартуров с Элизабет-Фарм». То есть рассказала о себе и своем покойном муже Джоне Макартуре.

Едва супруг мой был погребен, его начали превозносить как героя, даже те, у кого при жизни он не вызывал ничего, кроме неприятия. С набожной почтенностью упоминали его имя, возводили к небу глаза, складывали руки подобно священникам, изрекая лицемерные славословия. Должно быть, это один из изощреннейших способов мести со стороны тех, кто пережил своего врага.

«Подлинная история Макартуров с Элизабет-Фарм». От одного этого названия меня дрожь пробирает до костей. Даже слово «подлинная» в данном случае само по себе нелепость. Что значит «подлинная» история? За одной «подлинной» историей кроется другая, столь же неопровержимая и упорядоченная.

Но Джеймс не позволил мне уклониться от выполнения поставленной задачи. Он перерыл все выдвижные ящики

в письменных столах и извлек на свет все, какие смог найти, останки прошлого, чтобы стимулировать мою угасающую память. Я смотрю на них с чувством, близким к отвращению. Когда-нибудь в невообразимом будущем какой-нибудь читатель примется внимательно изучать эти свидетельства, надеясь проникнуть в тайны прошлого. Этому человеку и всем, кто сейчас меня читает, я могу сказать одно: «Не спешите верить!».

И что же это за свидетельства прошлого?

Во-первых, адресованные мне письма мужа — тридцать девять посланий.

Он уже двенадцать лет лежит в сырой земле, а меня до сих пор сжимает страх, когда я смотрю на знакомый почерк. Настроение его писем я распознавала сразу — по тому, как он обращался ко мне. Дорогая Элизабет. Моя дражайшая Элизабет. Моя самая родная Элизабет. Моя любимая Элизабет. Моя родная, любимейшая Элизабет. Это был самый верный признак: чем больше нежностей содержало обращение, тем неприятнее было само письмо.

Во-вторых, одно письмо Элизабет Макартур к мужу — с десяток строк, второпях начерканных незадолго до его смерти. Никаких откровений — только радостные новости о семейных делах.

В-третьих, двенадцать писем к моим друзьям и родным в Англии — разумеется, копии, которые я всегда делала по настоянию мистера Макартура. Безупречные документы, ханжеская ободряющая ложь от первой до последней строчки, приправленная хвастовством.

В-четвертых, мои записки о первой части нашего путешествия из Англии в Новый Южный Уэльс в 1790 году. Подразумевалось, что этот очерк будет опубликован, а потому в нем фактически нет информации непосредственно обо мне самой.

В-пятых, два миниатюрных портрета — Джона Макартура и Элизабет Макартур — на слоновой кости — неизменные атрибуты любого знатного господина и его благородной супруги. Ну, а то, что в Новом Южном Уэльсе не было ни слоновой кости, ни мастеров, владеющих подобной техникой живописи, мистера Макартура совершенно не смущало. По его задумке, местный художник, господин Буллен, должен был сделать эскизы, которые мистер Макартур затем собирался отослать некоему миниатюристу из Мейфэра, а тому предстояло перенести изображения на пластины из слоновой кости. Соответственно, портреты близки к оригиналам, хотя передача сходства не была самоцелью. Предназначение дорогих портретов — украшать гостиную, пусть кто-то из гостей и не узнает тех, кто на них запечатлен.

Мистер Макартур позировал, сидя вполоборота. Все в его облике — сплошь косые линии, выдающие настороженность, коварство, уклончивость. Надменно выпяченный подбородок, задиристая нижняя губа, горделивая посадка головы. Выбрав, как он считал, аристократическую позу, мистер Макартур даже не догадывался, что портрет отражает самые худшие грани его натуры.

Что касается меня, я с удовольствием позировала господину Буллену анфас и была довольна тем, что он рисовал. Однако мистер Макартур неизменно находил, к чему придраться. Я слишком заурядна, выражение лица слишком открытое. Подбородок квадратный, глаза немного косят, улыбка излишне широкая или — на следующем наброске — рот вообще не улыбается. Бедняга господин Буллен черкал и стирал, раз за разом повторяя попытку, пока бумага не тончала до дыр и ему не приходилось брать новый лист. Наконец эскиз, который устраивал мистера Макартура, был готов, но я уверена, что в изображенном на нем воздушном созда-

нии с локонами и ямочками на щеках меня вряд ли кто-то смог бы признать.

Однако именно эти портреты четы Макартуров отправятся в будущее. И люди, рассматривая их, станут говорить: ах, какой он решительный и властный человек! А какая у него очаровательная миленькая жена — на портрете это явно видно!

Моим первым побуждением было сжечь весь этот бумажный хлам. Но теперь у меня возникла идея получше. Вместо того чтобы разводить костер, я составляю еще один документ, который покажет, что все сохранившиеся письменные материалы — не более, чем напыщенный художественный вымысел, коим они и являются на самом деле. То, что я пишу здесь, это мучительная правда, которую прежде я не смела облечь в слова.

Весенний день близится к вечеру, тени удлиняются — сладостная пора, моя любимая. Я охвачена волнением, грудь сдавливает в предвкушении постыдного удовольствия, что я получу, приступив к осуществлению своей идеи. Слава богу, что я его пережила. Я думаю об этом с замиранием сердца. Многие были бы поражены — или изобразили бы потрясение, — знай они об этом. Но я выхожу в благоуханный сумрак и говорю себе: я еще жива. Еще жива и — наконец-то — вольна рассказать, как все было.

Я НЕ СИРОТА

Моя сестренка Грейс умерла во младенчестве. Мне тогда было пять лет. Детям в столь нежном возрасте еще не знакомо слово «смерть». Я с трудом понимала даже то, что у меня есть сестра, все надеялась, что это новое существо в доме — орущий красный комочек — поселилось у нас лишь на время.

У мамы еще глаза не просохли после похорон сестры, как папа тоже заболел и умер. Его уход нужно было как-то мне объяснить. «Он теперь с ангелами. На небесах», — говорили мне близкие и знакомые, рассчитывая, что я поверю им на слово.

— Нет, — кричала я, глядя на гроб, что стоял на козлах в гостиной. — Вытащите его оттуда! Ему же нечем дышать!

Во время церковной службы я постоянно оборачивалась к двери, ожидая, что папа вот-вот войдет и сядет с нами. Мама любила рассказывать, как я крутилась и вертелась на скамье, бежала к выходу, звала отца, высматривая его на улице. «Успокойте тебя было невозможно, — говорила она, с горечью смеясь. — «Папа! Папа!» — звала ты, пока мистер Бонд не вывел тебя из церкви. Твои крики были невыносимы. Конечно, я тоже хотела увидеть его на дорожке, что ведет в церковь, но каждый твой вопль «Папа!» был для меня как нож в сердце».

А до этого я жила с ощущением, что день может длиться столько, сколько я захочу, и мне ни минуты нет нужды си-

деть дома. Меня окружали поля и животные, которые вели свое существование, тесно переплетавшееся с моим собственным. Когда ладошки мои подросли, я научилась доить коров. С дойкой связано мое едва ли не единственное воспоминание об отце. Запах его твидовой одежды, обволакивающее тепло его большого тела. Он брал мои руки в свои, клал их на вымя, оборачивая мои пальчики вокруг влажных мягких коровьих сосков. Я слышала, как он довольно посмеивается, видя, что я усвоила движения, от которых молоко шипящей струей льется в ведро.

Мама не могла смириться с участью вдовы Ричарда Вила с фермы Лоджуорси. Смерть папы ее подкосила, а, может, она всегда была лишь тенью своего мужа. Мама чахла, болела, подолгу просиживала у камина в угрюмой молчаливой рассеянности, горестно вздыхая. Я на цыпочках обходила ее стороной, страшась этого взрослого отчаяния.

Однажды утром я услышала ее разговор под окном. Речь ее была тихой, но отчетливо доносилась до меня.

— У меня даже нет сына, который занял бы его место, — сказала она, под словом «его» подразумевая отца.

Мистер Кингдон что-то пророкотал в ответ, но в его рокоте слов я не разобрала.

— В лучшем случае я могла бы рассчитывать на зятя, если она сумеет сделать партию, — добавила мама, под «она» имея в виду меня.

Мистер Кингдон, вероятно, попытался приободрить ее какой-то раздражающей банальностью из тех, что всегда наготове у священников, подобных ему, потому как мама отвечала ему желчным тоном:

— Сэр, конечно, я буду и молиться, и уповать на лучшее — это сколько угодно. Но сейчас есть только я и строп-

тивная девчонка, которой нечем рекомендовать себя: красотой не блещет, за душой — ни гроша.

Навалившись на подоконник, я лениво прислушивалась к разговору мамы и священника. Я не беспокоилась, что они, возможно, видят меня, но при последних словах мамы я отпрянула от окна и сжалась в комочек у стены. Строптивная девчонка. Этим определением — строптивная — мама обрисовала мой образ, в котором я не узнавала себя. В моем представлении я была заводная, вспыльчивая по характеру, имела острый ум и острый язычок, нередко навлекавшие на меня неприятности. И теперь вот узнала, что человека, наделенного такими качествами, называют строптивным. А строптивные люди — судя по тону мамы — непривлекательные и неприятные. Такие никому не нравятся.

Меня вдруг обдало жаром стыда — за то, что я строптивная, некрасивая, не имею ни гроша за душой. За то, что никто не захочет взять меня в жены. И за маму мне тоже было стыдно, — за то, что она столь презрительно отзывалась о родной дочери. В нос мне бил запах пыли, осевшей на шторах; в щель между нижним краем занавесок и полом тянуло холодом. Тот запах и сквозняк до сих пор ассоциируются у меня с осознанием той ужасной истины, что открылась мне, когда я услышала мамины слова: я не сирота, но все равно что сирота, хоть обо мне пока еще есть кому позаботиться.